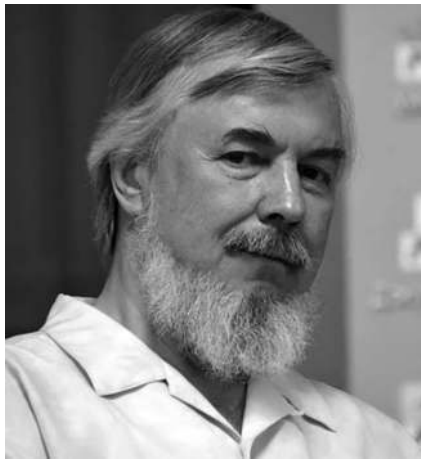




АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ



И о чём-то ангелы поют...

* * *

Удивительно пахнет дождём —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.

А зима бесконечной была,
опостылело это убранство —
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.

КАЗИНЦЕВ Александр Иванович (1953 — 2020) родился в Москве. В 1977 году окончил факультет журналистики МГУ, в 1981 году — аспирантуру факультета. С 1981 года после знакомства с В. Кожинным стал сотрудником журнала «Наш современник», с 1991 года — ведущим авторской рубрики «Дневник современника». Поэт, критик, публицист. Автор около 200 публикаций в журналах «Наш современник», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Октябрь», газетах «Литературная газета», «Литературная Россия», «Завтра» и других, часть которых переведена на английский, испанский, французский, китайский, арабский и другие языки, а также двух десятков поэтических публикаций. Автор 7 книг, в том числе «Новые политические мифы» (1990), «Россия над бездной. Дневник современника 1991—1996» (1996), «На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство» (2004), «Возвращение масс» (2010), «Имитаторы. Иллюзия «Великой России» (2015). Лауреат Большой литературной премии, премии «Прохоровское поле», премий им. Н. Гумилёва и Б. Корнилова. Секретарь правления Союза писателей России.

Девять месяцев — гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год,
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.

А теперь — до ростка, до комка
глинозёма — всё дышит весною,
И течёт, как ночная река,
в отраженьях асфальт подо мною.

И безумный, казённый, любимый,
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,

в гром, в жару, где сирени в пыли, —
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

* * *

Сумерки на землю налегли,
даже небо отдано удушью,
зареву зелёное вдали
реет над асфальтовой сушью.

Входит лето в каменный мешок,
опоздав и перепутав числа.
Тут любой не то что одинок,
а с самим собою разлучился.

В темноте они ещё светлей —
ожиданье тягостной недели —
прутья на обрубках тополей
уплотнились и позеленели.

Капли света бьются о стекло,
небо дышит духотой сырою.
На Москве обвисло тяжело
лето довоенного покроя.

И уже гуляет над Москвой
среди туч, насупленных зловеще, —
лёгкою косынкой грозовой
эта зелень светлая трепещет.

Что же сердце полое щемит,
будто в пустоте его щербинка,
что же в небо тусклое летит
зелени прозрачная косынка?

* * *

Сразу после чёрных льдин в апреле
или в майской пене надувной —
каждый раз в конце Страстной недели
землю странный обжигает зной.

И на глаз дряхлеют мостовые,
и пугает выпуклость земли —
будто бы наросты вековые
с грунта первозданного сползли.

Это к нам доносится доньне
и над нами властвует тогда
прокалённый над песком пустыни
алчный воздух Страшного Суда.

Мы по кремню мощному шагаем,
кубы света обтекаем мы,
как холмы в долине за Синаем,
вздыблены московские холмы.

Всё пространство в Иудею сжато
и таким в столетья внедрено —
двое суток с ночи до заката
ничего иного не дано.

...Дверь во тьму нагретую открыта,
гомон посетителей ночных.

И служанка сонная сердито
говорит: а вон один из них!

Вот ходи, а ноги загудели,
сторонись от памятливых глаз.
Не к кому стучаться в Иудее,
вся Москва безлюдна в этот час.

* * *

Моей жене

День стоит за окном, словно куб световой,
к сердцевине мутнея от тяжести света.
Медногорло, надсадно сияя листвою,
проплывает бульваром московское лето.

Громоздятся дома за открытым окном
в синеве, опустевшей без птичьего свиста.
Крутогорбые липы в чаду выхлопном
напоследок мерцают корой золотистой.

Воздух выпит дождями — нет, всё впереди,
ничего, ничего ещё не изменилось —
где-то к северу землю полощут дожди
и метут под подошвы древесную гнилость.

Ничего не изменится, слово даю,
не пойдёт под уклон равноденствие это —
будет света с избытком в полдневном раю —
целый город из камня, деревьев и света.

* * *

По жухлым травам просеки сквозной
летит тяжёлый ветер земляной
и листья пред собою гонит валом —
зелёную апрельскую тщету.
Они разваливаются на лету
и бьются ураганом обветшалым,
не покрывая дёрна наготу.

А в вышине воздушное движенье —
торжественно рождается весна —
клубятся тучи, ширится свечение,
и растекается голубизна.

И птицы рвутся в светлые проёмы,
и прутья тычут почки в вышину,

и кажется, что отголоски грома
бесповоротно утвердят весну.

В гранитном парке сталинских домов,
чьи капители расцвести готовы,
фосфоресцирующий свет лилов
и мостовые мокрые лиловы.

И над слепой доверчивой весной
летит тяжёлый ветер земляной,
окрашенный свечением лиловым,
валы листвы уже изнемогли,
и только руки тянутся с земли,
туда, где птицы развернулись снова
и за покров сияющий ушли.

Остановился воздух. Стебли трав
и зонтики душистые цветов,
и ветки ароматного жасмина,
и старого шиповника гряды,
настой земли, на солнце разогретой, —
все запахи как будто напряглись,
слились в один, утратили все свойства.

Образовался плотный щит воздушный,
замешанный на мощной светотени,
и небо положили на него:
огромный материк и океаны,
в лазури огненные острова,
пылающая над землёю карта!

В нагретом электрическом пространстве,
пульсируя, копилось напряжение.
Умолкли птицы, лес обезголосел,
теперь стояла тишина такая,
что кажется, вот-вот расколет небо
мгновенный ослепительный разряд.
Сетчатка глаза выцветет, когда
вернётся зренье — поздно, не заметишь,
как две плиты сомкнутся по разлому.

Мгновенье напряжения. Минута
мучительного чудного настроения!
Две, пять минут... Вдруг карта неба гаснет,
проносятся стрижи, идёт прохлада,
а небо выцветает, вечереет
и делается бледно-голубым.

Уже запахло свежестью ночной,
и потемнели елей силуэты,
и в светлое открытое окно
ко мне ночная бабочка летит.

Перед рассветом

Памяти отца

Что на тело смотришь ты, душа,
сторожишь пустую оболочку,
в памяти событья вороша,
теребя имён и лиц щечку?

Каково тебе сидеть одной
в зале с голым светом посредине,

в страшной невесомости земной,
в кафельной сверкающей пустыне?

А над толщей сводов и палат,
там, куда крыла твои воздеты,
зимние созвездия горят
и, пылая, движутся планеты.

И о чём-то ангелы поют —
ты ещё не поняла ни слова,
ты, томясь и сокрушаясь тут,
вся во власти языка земного.

Ты ещё не подымаешь взор,
ты ещё сидишь осиротело,
не решаясь вознестись в простор,
в звёздный мир из своего придела.

* * *

О, Господи, великолепный день —
какое солнце светит над домами!
Москва блаженствует — ей даже думать лень —
укрытая глубокими снегами.

Морозный ангел реет над Москвой,
и крылья блещут розовым и синим.
Небесной надышавшись синевой,
по воздуху скользят разины.

Они плывут в универмаг большой,
цепочкой чёрною над снегом бирюзовым,
и взявшись за руки, и с чистой душой
несут оттуда светлые обновы.

А там, поверх их задранных голов,
храня в полёте ряд и расстоянье,
такси летят, светлея меж стволов,
вмерзающих в холодное сиянье.

Прозрачно время, видно даже дно,
секунды бьются подо льдом непрочным,
и вот скопились; и сейчас оно
прольётся родником проточным.

И пахнет дымом — но откуда дым,
откуда знак тепла и расставанья,
над городом блаженно-голубым,
над мощным кругом пенья и сиянья?

Зима на Арбате

Вот я опять на улице старинной,
слоистый снег идёт с рассвета дня,
и запах новогодний, мандаринный
под скрип шагов преследует меня.

Но я не вынесу с граненой формой спора —
пускай войдут в чередованье стоп
заснеженные шишаки забора,
еловой веткой машущий сугроб.

И я скажу: осыпалась рябина,
и ягоды краснеют на снегу.

Нагнусь, носком ботинка пододвину —
рябина? Да, рябина на снегу.

А снег идёт, а снег летит крылато,
всё шире, всё сильнее — заносит он
оконницы особняков Арбата —
московских переулков сон.

А снег летит, как будто из придела,
где звёзды высятся, сокрыты пеленой.
И потому такой холодный, белый,
наполненный колючей тишиной.

Лес

И подлесок еловый тотчас
выступает, и ищет напрасно
пустотой огорошенный глаз
опереться на жёлтое с красным.

Нет, в лесу — ни листка, ни души,
лишь травинки торчат заострённые,
как цветные карандаши,
тонко ножиком очинённые.

И гармонии здесь не найдёшь,
и вконец потрясённый распадом,
лес сквозит без прикрас, без одёж
под внимательным пристальным взглядом.

Он колеблет по глади воды,
в пустоте так графично-условен,
неземные пустые сады,
с низким небом плывущие вровень.

* * *

Что делать мне — дождливый воздух пуст,
такой щемящий и такой прозрачный,
как тот вишнёвый невесомый куст,
вчера расцветший у ограды дачной.

А дождь прошёл, и все сады в цвету,
и брезжит вечер в лепестковой гуще,
как будто въяве видишь пустоту,
объемлющую этот рай цветущий.

Сила земли

...А сосны опускались из глубин
холодного, надоблачного мира,
из волокнистых кубов синева,
над кронами их смёрзшейся в кристаллы.
А мы лежали глубоко внизу,
на мох вонючий положив пилотки.

Нас привели с учений на обед
за полчаса до срока. Так нас гнали,
что даже капитан развеселился
и раза два кричал нам: «Вспышка справа», —
и мы в песок валились, животами
прикрыв от мнимой бомбы автомат.

Раз я упал и встать уже не мог.
Остановилось время. Капитан
с рукою поднятой, рта не закрывши, замер.
И так стоял он в мареве сосновом,
и сам он стал зелёный, как сосна.

А я лежал, лицом в песок уткнувшись,
и тёплые фонтанчики песка
из-под ноздрей вздымались. Муравьи
цепочкою ползли через дорогу;
рябила тень высоких лап сосновых,
и в облаках стояла тишина.
Лишь сердце в теле бешено стучало.

Когда мы к кухне пришагали, роту,
конечно, не пустили. Отвели
в загон какой-то около забора,
где десять сосен создавали тень.
Команда: «Разойдись!» Мы повалились
на жёсткий мох, воняющий мочой.

Я запрокинул голову, невольно
мой взгляд пошёл по медному стволу,
упёрся в крону, что вращалась в небо,
вмерзала в кубы жаркой синевы.
И как-то я почувствовал спиною,
как тянут соки жилистые корни
не глубоко, тут рядом, подо мной,
под взмокнувшей от пота гимнастёркой,
под сбитыми ступнями без сапог.

Я прислонился головой к стволу
и ощутил, как под сосновой кожей
струится кровь, смолистая, живая,
питающая хвойную верхушку
и солнечную синеву над ней.

Я ощутил, что становлюсь корою,
спина к земле как будто приросла,
и кровь моя мешается с сосновой,
и по стволу, по тайным цепким жилам
стремительно восходит к синеве.

Так вот оно, могучее движенье,
тот первозданный творческий покой!
И на себя я с высоты глядел —
там тело опустевшее лежало
на жёстком мху, на прошлогодней хвое,
меня наполнив силою земли.